

Г Е Н Н А Д И Й К А З А Н Ц Е В

ЧТО ЗЕМЛЯ ВЗЯЛА

Ч И Т А Ю Щ И Й К А М Е Н Ь

Алтай, 225 год до нашей эры



Геннадий Казанцев

**Что земля взяла.
Читающий камень**

«Автор»

2026

Казанцев Г.

Что земля взяла. Читающий камень / Г. Казанцев — «Автор»,
2026

Геолога забросило из 2003 года в Горный Алтай третьего века до нашей эры — к тем самым людям, чьи курганы он накануне разглядывал с террасы. У него нож, молоток и промывочный лоток. До того дня, когда на юге поднимется Модэ, и прежний степной порядок рухнет, остаётся пятнадцать лет. Шадрин об этом не подозревает. Читатель — да.

© Казанцев Г., 2026

© Автор, 2026

Содержание

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. НИЖНЯЯ ВОДА Глава 1. Двадцать седьмое сентября	5
Глава 2. Не та осень	11
Глава 3. Идущие вниз	15
Глава 4. Стена	19
Глава 5. Слова, которые повторяют	23
Глава 6. Чей рот	26
Глава 7. Шерсть	30
Глава 8. Кость	32
Конец ознакомительного фрагмента.	34

Что земля взяла. Читающий камень

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. НИЖНЯЯ ВОДА

Глава 1. Двадцать седьмое сентября

Вода была такая холодная, что руки переставали быть руками.

Егор держал лоток на весу, в струе, и качал — не кистями, кистями качают те, кто моет второй сезон, — качал всем корпусом, от поясницы, коротко и ровно, и серая муть уходила через борт длинным языком. Ручей тащил её вниз и растворял. Пальцы он не чувствовал с половины третьего.

В лотке оставалось всё меньше. Он сбросил гальку, догнал воду, качнул ещё, ещё, и на чёрной дорожке шлиха — того тяжёлого, что не унесло водой, — проступила знакомая ржавая рыжина — гранаты, магнетит, обычная улаганская дрянь. Ничего.

Он посмотрел ещё раз, наклонив лоток к свету. Свет уже был низкий, жёлтый, лежал вдоль долины плашмя, и в нём всё выглядело богаче, чем есть. Он это знал и делал поправку. Ничего.

— Пусто, Гурьяныч, — сказал он не оборачиваясь.

— И слава богу, — отозвался Гурьяныч с террасы. — Было бы что — сидели бы тут до снега.

Гурьянычу было шестьдесят один, он возил партии с семьдесят четвёртого года и полагал, что любая находка — это лишняя работа. В чём-то он был прав.

Егор вылез из ручья, сел на камень и стал стаскивать сапоги. Носки были мокрые насквозь, хотя сапоги не текли. Так всегда: вода приходит сверху, по рукавам, по спине, неизвестно как, и к вечеру ты мокрый весь, а сапоги при этом целые.

Он вытряс носок, выжал, натянул обратно. Смысла в этом не было никакого, но так делают.

Стоял конец сентября. Лиственницы наверху уже взялись, но не совсем — рыжина шла пятнами, языками по склону, там, где солнце. Ниже, вдоль воды, оставалась зелень. Через неделю всё станет одного цвета, а ещё через две с этого места надо будет уезжать.

Пятнадцатый маршрут. Восемь точек опробования, четыре забракованы по мутности воды, шлихи в мешочках, мешочки в рюкзаке, номера в пикетажке. Двадцать третий полевой сезон Егора Дмитриевича Шадрина, из них четырнадцатый на Алтае.

Он достал пикетажку — полевой дневник в клеёночной обложке, засаленный по углам, — полюбил карандаш и записал: *т. 15-8, руч. б/н, лев. приток, шлих сер., магнетит, гранат, зол. не обн.* Посмотрел на строчку. Подумал, что за двадцать три года написал «зол. не обн.» примерно четыре тысячи раз, и что это, наверное, и есть его профессия.

Потом он убрал пикетажку и полез вверх, к террасе, где стоял Гурьяныч и где на камне сидел Ромка.

Ромка был студент, третий курс, практикант. Он приехал в июне уверенный, что геология — это про камни, и к концу сентября понял, что геология — это про то, чтобы носить рюкзак вверх, а потом вниз, а внутри рюкзака камни. Сейчас он сидел, привалившись к своему рюкзаку, и смотрел вбок с тем выражением, которое у молодых бывает на восьмом часу маршрута.

— Живой? — спросил Егор.

— Угу.

— Ноги как?

— Есть.

— Хорошо, что есть.

Он сел рядом, вытащил «Приму», размял, прикурил от третьей спички — ветер тянул по долине снизу, ровно и настойчиво.

Отсюда было видно далеко. Долина уходила на север, широкая, с плоским дном, а по обе стороны поднимались борта, и на бортах, на самом верху, стояли лиственницы редко, поодиночке, как поставленные. Над ними шёл голый склон, рыжий от прошлогодней травы, и ещё выше начиналось небо, которое здесь всегда какое-то слишком большое.

А внизу, на второй террасе, метрах в четырёхстах, лежали курганы.

Их было пять. Оплывшие каменные блины, серые, поросшие по краям, каждый метров двадцати в поперечнике, и в середине у каждого — воронка, потому что все они были копаны.

— Дядь Егор, — сказал Ромка. — А это чьё?

— Это Пазырык.

— Ну да, я понял, что Пазырык. Урочище. А курганы чьи?

Егор затаился.

— Скифские, условно. Пазырыкская культура, пятый-третий век до нашей эры. Тут Руденко копал в сорок седьмом — сорок девятом, а первый ещё Грязнов, в двадцать девятом. Оттуда ковёр.

— Какой ковёр?

— Ворсовый. Самый старый на земле. Лежит в Эрмитаже.

Ромка поднял голову.

— Ковёр? Две с половиной тысячи лет?

— Мерзлота, — сказал Егор. — Курганы каменные, тепло сквозь него не идёт, вода наекла и встала линзой. Внутри минус. Всё, что положили, — лежит. Ковры, повозка, кони с масками, люди с татуировками. Всё лежит как положили.

Он сказал это ровно, как говорят вещь, которую знают давно и не считают чудом, и только договорив, услышал, как это звучит.

Ромка молчал.

— Вон в той, второй слева, — сказал Егор, показав сигаретой, — лежал мужик. Здоровый. С татуировкой на плече — олень, и рога у оленя кончаются птичьими головами. Я в книжке видел.

— И где он теперь?

— В Эрмитаже.

Ромка ещё помолчал.

— Как-то... — начал он и не закончил.

— Ну да, — сказал Егор.

Гурьяныч, стоявший чуть выше, сплюнул в траву.

— Копать людей — последнее дело, — сказал он. — Хотя через две тыщи лет, хоть через две недели. Легли — пусть лежат.

— Тогда мы про них ничего не узнаем.

— А надо?

На это Егор отвечать не стал. У Гурьяныча на всё был один аргумент, и он был неубиваемый, потому что состоял не из логики.

Он докурив, вдавил окурочек в камень, разломил, ссыпал табак и сунул фильтр в карман — привычка тридцатилетней давности, сильнее его.

Камень был хороший, плоский, с косою жилой калыцита через верхний угол. По северной грани сидели жёлто-зелёные блюдца лишайника, крупные, сантиметра по три. Егор посмотрел на них и машинально прикинул: лет двести, может двести пятьдесят. Он прикидывал так всю жизнь, без малейшей нужды, как другие считают ступеньки.

Было около шести. Идти до лагеря час двадцать, по осыпи вниз, потом вдоль ручья. Успевали засветло.

— Собираемся, — сказал он.

Ромка со стоном поднялся.

И тут пришёл звук.

Егор потом много раз пытался вспомнить, что это было, и не мог подобрать. Не грохот. Скорее — как если бы очень большой человек уронил что-то очень тяжёлое очень далеко, в соседней комнате, и комната эта была размером с область. Низкий, на пределе слуха, идущий не из воздуха, а из-под ног.

Гурьяныч перестал сплёвывать и выпрямился.

— Что это, — сказал Ромка. Не вопросительно.

Егор уже понимал, что это. Понимал головой, из курса, из чужих рассказов, из отчётов, которые читал. Но телом он этого никогда не знал, и тело сейчас узнавало заново.

Земля тронулась.

Не качнулась — тронулась, как трогается вагон. Мягко, почти вежливо. Егор сделал шаг, чтобы устоять, и шаг не получился, потому что то место, куда он ставил ногу, за время шага уехало.

Потом началось всерьёз.

Дальше было плохо с последовательностью. Он помнил, что упал на четвереньки и что четвереньки не помогли — трясло так, что ладони отрывало от камня. Помнил гул, который теперь шёл отовсюду сразу, и в этом гуле — отдельный, высокий, режущий звук: где-то на противоположном борту пошёл склон, и там сыпались тысячи тонн, и это было слышно как шипение. Помнил, что Ромка кричал. Помнил, что сам он кричал что-то Ромке, и не помнил что.

Лиственницы наверху ходили. Не гнулись от ветра, а ходили целиком, вместе с землёй, в которой стояли, и это было самое неправильное из всего.

Потом ослабло. Потом опять поддало, коротко и злобно. Потом кончилось.

Пыль стояла столбом на том борту, где ушёл склон, и медленно оседала, розовая от низкого солнца.

Стало очень тихо. Не было птиц. Егор сообразил, что птиц не было и до толчка — минут за десять, за пятнадцать, — просто он не заметил.

— Все целы? — сказал он. Голос вышел чужой.

— Целы, — сказал Гурьяныч откуда-то сбоку.

Ромка сидел на земле, обняв колени, и мелко дышал.

Егор посмотрел на часы. Восемнадцать тридцать три. Он зачем-то записал это в пикетажку, тут же, на четвереньках, кривым карандашом, и потом эти четыре цифры оказались единственным, что у него осталось от того дня.

— Балла шесть, — сказал Гурьяныч. — Не меньше.

— Больше, — сказал Егор. — Здесь шесть. А где-то там — гораздо больше.

Он поднялся и стал смотреть на юг, где над Курайским хребтом ещё висела муть, и думал про Кош-Агач, про Бельтир, про то, что в Бельтире дома саманные, и про то, что рации у них до лагеря добьёт, а до Улагана вряд ли.

Потом он посмотрел вниз, на террасу с курганами.

Свежий обрыв был метрах в ста от них, левее по борту. Осыпь сошла и обнажила стенку — чистую, светлую, влажную, ещё дымящуюся пылью. Известняк. Он это видел отсюда по цвету.

И в известняке, посередине обнажения, темнела дыра.

Егор смотрел на неё, наверное, секунд десять.

Потом он сказал:

— Я гляну и вернусь.

Гурьяныч, не оборачиваясь, ответил:

— Дмитрич. Не дури. Сейчас догонит.

Афтершок — это Гурьяныч имел в виду. И он был прав, и Егор это знал, и знал даже, что скажет себе завтра.

Но обнажение было свежее.

За двадцать три года он видел, может быть, три таких. Гора вскрывается сама, показывает разрез, которого никто никогда не видел и больше не увидит, потому что через месяц его затянет осыпью, а через год зарастёт. Ходить смотреть свежие разрезы — это было в нём глубже, чем осторожность, глубже, чем страх, примерно на той же глубине, где лежало умение дышать.

— Пять минут, — сказал он и пошёл.

Он спускался наискось, по живой ещё осыпи, ставя ногу боком, и мелочь ехала из-под него вниз, шурша. Метров через сорок он оглянулся. Гурьяныч стоял, заложив руки за спину, и смотрел ему вслед. Ромка сидел.

Он помахал. Никто не помахал в ответ.

Стенка вблизи оказалась выше, чем он думал, — метров восемь. Известняк был плотный, светло-серый, со свежими сколами, острыми, как стекло. Он тронул скол молотком, поймал звук, капнул кислотой из пузырька и посмотрел, как вскипает — быстро, весело, правильно.

Полость открывалась на высоте примерно полутора метров. Не пещера, скорее щель, вытянутая по трещиноватости, в плечо шириной. Изнутри тянуло — ровно, холодно, чуть влажно, и запах был тот особенный, никакой, — запах, которого нет на поверхности нигде.

Он поставил ногу на выступ, подтянулся, посветил фонариком.

Щель уходила вглубь и вниз. Метра через три поворачивала. Стенки были натёчные, гладкие, кое-где с бело-жёлтыми наплывами.

Он полез.

Не потому, что решил лезть. Он просто уже лез — тело сделало это раньше, чем голова успела назначить цену.

Внутри было тесно. Он двигался боком, выставив плечо, толкаясь ногами, и рюкзак тащил за лямку в руке, потому что с рюкзаком за спиной он тут не проходил. Фонарик держал в зубах. Свет прыгал.

За поворотом стало шире. Он смог встать. Пол уходил вниз довольно круто, и там, куда падал луч, что-то поблёскивало влагой.

Егор сделал два шага вниз, чтобы посветить туда.

И тогда пришёл второй толчок.

Он был короче первого и, наверное, слабее. Наверху, на террасе, Гурьяныч потом просто присел на корточки и переждал.

Здесь, внутри, звук был такой, что Егор его не услышал — он им стал.

Пол ушёл.

Он падал недолго, но успел удивиться, что падает, — а потом ударился плечом и виском о что-то мокрое и твёрдое, и фонарик выбило изо рта, и фонарик потух, и стало полностью, идеально темно.

*

Он приходил в себя несколько раз.

В первый раз — почти сразу, и от боли: правая сторона головы горела. Он полежал, пощупал, нашёл рассечение над ухом, липкое и тёплое. Пошевелил руками, ногами. Всё двигалось. Он подумал, что это удача, и потерял сознание опять.

Во второй раз он нашёл фонарик — рукой, наощупь, в шаге от себя, в воде. Фонарик не работал.

В третий раз он вспомнил про спички.

Спички были в гильзе, в нагрудном кармане, и гильза была сухая. Он зажёг одну и в те четыре секунды, что она горела, увидел: он лежит на дне наклонной трубы, ход вверх засыпан,

но не наглухо — есть просвет, и оттуда сочится сыпучая мелочь; вокруг мокрый камень; воды на дне по щиколотку; и она куда-то течёт.

Спичка погасла.

Егор посидел в темноте и стал считать до ста.

Кричать было нельзя. Крик под землёй не даёт ничего, кроме сорванного горла, а горло ему ещё понадобится наверху. Он знал это так же твёрдо, как знал, что известняк вскипает от кислоты, и это знание было сейчас единственным, за что можно было держаться.

Он досчитал до ста. Потом ещё раз. На третий отпустило.

Потом он сказал вслух, негромко:

— Ну, хорошо.

И полез вверх, к просвету.

*

Сколько это заняло, он не знал. Часы разбились. Он копал руками и молотком, отгребал под себя, дважды его засыпало до пояса, один раз выше, и оба раза он выкапывался, потому что делать больше было нечего.

Он пил. Воды было сколько угодно, она текла по стенке, и он лизал стенку.

Он думал о Гурьяныче — что тот, конечно, никуда не уйдёт, будет сидеть у стенки и орать в дыру, и что орать он будет до темноты, а потом пойдёт в лагерь за верёвкой и людьми.

Он думал о Ксении. Что ей позвонят из конторы, и что телефон она возьмёт не сразу, потому что у неё вечно беззвучный.

Он думал, что бросил лоток. Дюралевый, тридцать восьмого года, Гурьянычев, тот его берёт двадцать лет и дал ему на сезон со словами «утопишь — домой пешком».

Мысль о лотке почему-то оказалась самой невыносимой, и он вернулся вниз, в темноте, наощупь, и нашёл его, и потом лез с ним обратно.

Потом стало сереть.

Он не поверил. Он полз ещё долго и всё ждал, что серое окажется пятном в глазах. Но оно росло, делалось отчётливее, приобретало края, и наконец он увидел свою руку — не почувствовал, а увидел, — и понял, что это свет.

Он вылез из-под камня как из-под одеяла, головой вперёд, и лёг на осыпь лицом вниз, и лежал.

Пахло травой. Мокрой, холодной, осенней травой и хвоей.

Он полежал ещё, чтобы всё перестало ходить, и потом сел.

Было утро — раннее, серое, до солнца. Долина лежала внизу, широкая, с плоским днищем, знакомая. По ней тянулся туман полосами.

Он был грязный до непроходимости, левый рукав энцефалитки оторван по шву, над ухом запеклось, и он весь трясся, но крупно и ровно, от холода, а не изнутри.

Он посмотрел вверх, на террасу.

Гурьяныча не было.

Ромки не было.

Он поднялся, покачнулся, устоял и пошёл наверх — медленно, потому что колени после ночи в камне не работали. Он поднялся на террасу и встал на том самом месте, где вчера курил.

Место было то. Камень он узнал сразу — по излому, по косой жиле кальцита через верхний угол, по тому, как он сидит в дёрне.

Ямки от его каблука рядом не было. Он искал глазами и окурка — фильтр он унёс, а табак ссыпал вот сюда, под ноги. Табака тоже не было.

И лишайник был не тот.

Вчерашних жёлто-зелёных блюдеч на северной грани не было вовсе. Лишайник сидел на восточной, был мелкий, серый, и рисунок его не имел с прежним ничего общего.

Егор опустил на корточки и смотрел на камень очень долго.

Лишайник живёт век или два, потом умирает, и на его месте с нуля садится другой, и так по кругу, и круг этот идёт медленно и без пропусков. Чтобы на одном камне сменился весь рисунок, нужно не пять лет и не пятьдесят.

Камень был тот. Всё, что на нём выросло, было другое.

Он повернулся к северу, туда, где должна была идти дорога.

Дороги не было.

Он посмотрел внимательнее, думая, что ошибся бортом, что дорога чуть выше или чуть ниже, что вчера он смотрел с другой точки. Но борт был тот же, ручей тот же, впадал там же. Дороги не было. Не завалило — не было. Не было и колеи, которая идёт от дороги к их стоянке, а колея эта нарезалась восемь сезонов подряд и была видна с километра.

Не было столбов. Он специально проверил линию, вдоль которой они стояли, — пусто, только склон и на нём трава.

Он стоял и смотрел на курганы.

Их было пять. Оплывшие серые блины, метров по двадцать.

В середине у каждого — ровно. Гладко. Никакой воронки.

Егор Дмитриевич Шадрин, сорока шести лет, геолог, стоял на террасе над Пазырыком и очень медленно понимал, что он смотрит на курганы, которых никто ещё не копал.

Ноги перестали держать, и он сел. Не решил сесть — просто сел.

Позже он смог восстановить, что просидел так довольно долго — час, может быть, полтора, — и что за это время не подумал ни одной законченной мысли. Голова работала вхолостую, как двигатель на нейтралке: она перебирала объяснения и отбрасывала их, все, одно за другим, потому что каждое требовало, чтобы дорога куда-то делась, а дорога не делась, дороги просто не было и, судя по траве, никогда не было.

Он поднял глаза, когда посветлело.

Солнце вышло из-за восточного борта и пошло по долине, снимая туман. Стало видно далеко и очень отчётливо, как бывает после ночного холода.

И на северо-востоке, километрах в трёх, там, где долина расширялась и где вчера — вчера! — не было ничего, кроме кочарника, стоял дым.

Не пожар. Не палы. Тонкие вертикальные струйки, много, не меньше десятка, стоящие в утреннем безветрии ровно и параллельно, как поставленные.

Так стоит дым над жильём.

Егор смотрел на него долго. Потом опустил взгляд и обнаружил, что до сих пор держит в руке лоток.

Он посмотрел на лоток. Потёр большим пальцем клеймо на борту, зачем-то, будто проверял, не стёрлось ли.

Потом он встал, надел рюкзак и пошёл на дым.

*

Глава 2. Не та осень

Три километра он шёл четыре с половиной часа.

Это было первое, что по-настоящему его убедило. Не дорога, которой не было, не столбы, которых не было, — а то, что он не мог пройти три километра.

По днищу долины идти было нельзя: кочкарник, между кочками вода, и кочки эти стояли плотно, как мужики в очереди, и на каждую надо было наступать отдельно. Егор попробовал и через двести метров вылез на борт. По борту шла осыпь, и по осыпи он тоже прошёл немного. Тогда он поднялся ещё выше, на бровку террасы, где было сухо, и пошёл там, но терраса всё время обрывалась к притокам, а притоки надо было обходить вверх, до брода, а потом спускаться обратно.

Вот, значит, как здесь ходят пешком. Никак.

Он останавливался часто. Не потому, что уставал — уставал он тоже, — а потому, что каждые пятнадцать минут находил новое.

Лиственницы. На левом борту, метрах в трёхстах над днищем, стояла лиственница, которой не было. Егор вчера здесь работал, он смотрел на этот борт часа полтора, он бы её увидел. Дерево было матёрое, с кривым толстым комлем, метров двадцать, и стояло оно одно, и таких одиноких вокруг было ещё восемь или девять. А там, где вчера был подрост — молодняк, частокол, — там сейчас была трава.

Он постоял. Записал в пикетажку: *листв. одиночн., вост. борт, 8-9 шт., крупные*. Посмотрел на запись. Подумал, что записывать это некому и незачем, и всё равно записал дальше: *подроста нет*.

Сурки. Их было столько, что он сбился. Норы шли по южному склону сплошной сыпью, и на бутанах — рыжих холмиках земли, выброшенной из нор, — сидели столбиками и свистели, не по одному, а вперекличку, целыми улицами. Он двадцать лет ходил по Алтаю и видел сурчиные колонии. Он никогда не видел таких. Их не стреляли. Никто и никогда их не стрелял.

Стекло. Он специально стал искать стекло — стал смотреть под ноги на бровках, на приречных косах, в промоинах. Двадцать три сезона научили его, что человек всегда оставляет стекло. Пусть один осколок на гектар, пусть замытый, зелёный, обкатанный, — но он есть везде, где хоть однажды кто-то сидел с бутылкой, а сидели везде.

Стекла не было.

Не было и жести. Не было проволоки. Не было бело-синих обрывков полиэтилена, которые в горах висят на кустах и не гниют по двадцать лет. Не было следа гусеницы, не было пня с пилой, не было кострища с обгорелой консервной банкой.

Егор шёл и вычёркивал.

Он был геолог, и он умел одну вещь: не влюбляться в первую гипотезу. Гипотез было четыре.

Первая: он сошёл с ума. Он проверил её честно, как проверяют пробу. Против неё было то, что схема сохранялась — ручей впадал там же, борта стояли так же, гора имела ту же форму. Сумасшествие так не работает. Сумасшествие ломает форму, а не подробности.

Вторая: его вынесло не туда, он вылез из другой дыры в другой долине. Против неё был камень. Он спустился к обрыву и осмотрел выход известняков — тот же светло-серый, плотный, с той же характерной трещиноватостью и с той же прослойкой в полметра, рыжей от лимонита. Он вчера её мерил. Она была на месте.

Третья: прошло много времени, а он был без сознания. Тогда где следы? Дорогу за неделю не съедает трава, за год не съедает, за двадцать лет остаётся полоса. И где, чёрт возьми, столбы.

Четвёртая гипотеза была такая, что он к ней подходил боком.

К одиннадцати он вышел к курганам.

Он не собирался. Он шёл на дым, и терраса вывела его прямо, и он оказался в двадцати шагах от крайнего.

Егор остановился.

Насыпь была каменная — рваный плитняк, сложенный горкой, и по краям, у самой земли, между камней уже пробилась трава, а выше, на макушке, ещё нет. Он обошёл её кругом.

Никакой воронки. Никакого перекопа. Никакого отвала. Никаких колышков, никакого шурфа, никакой ржавой лопаты, забытой в сорок девятом.

Он подошёл и положил руку на камень.

Камень был холодный, шершавый, обыкновенный.

Егор стоял и думал совершенно ясно и отдельно от всего: под этим камнем сейчас лежит человек. Не череп, не пятно в грунте. Человек. Целый, с руками, с ногами, с татуировкой на плече — олень, у которого рога кончаются птичьими головами. Он лежит во льду, и его никто не трогал, и когда-нибудь придут и тронут, и он поедет в Ленинград, и его положат под стекло, и школьница на экскурсии скажет: фу.

Когда-нибудь.

Егор поймал себя на этом слове и остановился.

Он не знал, когда. Он вообще не знал, где он во времени. Пазырык — это пятый век до нашей эры, или четвёртый, или третий, он помнил из книжки только то, что учёные спорят и не сходятся. Триста лет разброса. И даже эти триста лет он держал не как знание, а как случайно застрявшую строчку из вклейки.

Он попробовал прикинуть иначе — от курганов. Насыпь была свежая: трава по краям только-только пробилась, а на макушке ещё не села. Значит, копали недавно, год или два назад, может пять.

И это было всё. Больше выжать было не из чего.

Он мог сказать: я где-то в трёх столетиях. Он не мог сказать, в каком году, и не мог даже надеяться узнать, потому что спросить было решительно не у кого. Здесь никто не считал годы от чего-нибудь. Здесь считали зимы, и считали их каждый от себя.

Вот это оказалось хуже всего остального, хуже дороги, которой нет, и хуже столбов.

Не «я в прошлом». А «я не знаю, где именно, и не узнаю никогда».

Он убрал руку.

Внутри было пусто и очень тихо. Он ждал ужаса и не находил его. Ужас, наверное, был где-то в очереди и ещё не дошёл.

Он сел на камень насыпи, потому что ноги опять начали подводить, и сидел, и смотрел, как внизу по днищу тянет туман.

— Ладно, — сказал он вслух. — Хорошо.

Слово «хорошо» он говорил, когда было плохо. Это заметила ещё Ленка, лет двадцать назад, и говорила, что это его самая противная привычка.

Он проверил себя. Голова: рассечение над правым ухом, отёк, кровь запеклась, тошнило слабо, но постоянно, зрачки он посмотреть не мог. Сотрясение, скорее всего лёгкое. Плечо: ушиб, движется. Колени: как всегда. Руки: содраны, грязь в ссадинах, надо мыть, а мыть нечем. Он не ел сутки с лишним и пил только натёчную воду в дыре.

По-настоящему опасны были две вещи: ночь и вода в ссадинах. Ночью здесь минус. Огонь он разведёт, спички есть, но с одной энцефалиткой и без укрытия он высидит, а вторую ночь уже нет.

Значит, к людям.

Он поднялся и пошёл дальше на дым.

*

К двум часам он вышел на бугор, с которого стало видно.

Он лёг на живот, не думая, зачем ложится, и пополз последние метры, и потом лежал очень долго, час или больше, и смотрел.

Стойбище стояло на второй террасе, у поворота, где долина расширялась и река делилась на два рукава. Не деревня, не лагерь — стан. Круглые жилища, штук восемнадцать, крытые тёмным войлоком, и войлок был не серый, а буровато-чёрный от дыма, и на некоторых поверх шёл узор, но издалека Егор не разбираал какой.

Половина стана была уже разобрана.

Вот это его и добило — не войлок и не кони, а то, что там шла работа, и работа была срочная. Женщины снимали покрышки, скатывали их и вязали жгутом. Мужчина в одиночку валил жердевой каркас, дёргая за стойку, и каркас складывался внутрь, как зонт. Кто-то грузил выюки, кто-то держал лошадь, кто-то на кого-то кричал, и крик доносился обрывками, тонко.

За станом, ниже по террасе, стояли кони. Егор попробовал сосчитать и бросил на сотне. Дальше, отдельным пятном, ходили овцы, и овец было не сосчитать вовсе — они текли и переливались, как вода, и вокруг них ходили двое верхом и одна собака.

Ближе, у крайнего жилища, резали.

Он видел это отчётливо. Барана положили на бок, придержали, и человек сделал что-то короткое у грудины — не по горлу, а именно у грудины, рукой внутрь, — и баран почти сразу обмяк. Егор знал этот способ по книжкам и не думал, что когда-нибудь увидит. Крови на земле не было совсем.

Пахло дымом. Ветер тянул снизу, и до бугра доносило: дым, и в дыме не хвоя, а что-то плотное, кисловатое — навоз, понял он, они топят навозом, — и ещё тянуло шерстью, и ещё чем-то живым и густым, лошадиным.

Дети бегали между жилищами. Двое или трое. Один тащил что-то за верёвку и падал.

Егор лежал в траве, в сорока минутах от них, и в голове у него было ровно и звонко, как в пустой бочке.

Это была не реконструкция. Не музей. Не фестиваль. Реконструкция всегда чуть медленнее жизни, потому что реконструктор помнит, что на него смотрят. Здесь никто не помнил. Здесь бабы работали в темпе, при котором не разговаривают, и человек, валивший каркас, дёрнул стойку и матерно — Егор был готов поклясться, что матерно, — что-то сказал, когда стойка не пошла.

Он лежал и понимал одну простую вещь: они уходят.

Конец сентября. Они снимаются с летника. Через день, через два здесь не будет никого, будут круги примятой травы, зола и кости, и он останется один в горах перед зимой, с полпачкой сигарет.

Значит, выбора нет.

Он стал думать, как подойти, и все варианты были плохие.

Выйти в открытую и идти прямо — верный способ получить стрелу. Он не знал, есть ли у них лук. Он посмотрел ещё раз внимательно на всадников у овец и увидел у одного на бедре, слева, продолговатый чехол.

Лук был.

Дождаться ночи и подойти к огню — ещё хуже. Ночью подходят волки и враги.

Подобраться и наблюдать ещё день — самый разумный вариант с точки зрения разведки и самый идиотский с точки зрения того, что у него нет дня.

Он выбрал третий, компромиссный: обойти по борту, спуститься к реке ниже стана, выйти на открытое место в двухстах метрах, сесть на землю и сидеть. Сесть — это важно. Сидящий человек не нападает. Сесть, положить руки на колени ладонями вверх и ждать, когда заметят.

План был так себе, но он был.

Егор пополз назад с бугра, встал на ноги за гребнем, отряхнул колени — совершенно бессмысленно, он был грязный как чёрт, — и в этот момент справа, метрах в тридцати, из-за камней вышла собака.

Она стояла и смотрела на него.

Крупная, лохматая, палево-серая, с широкой мордой и обрубленными ушами, тяжёлая в кости. Она не рычала.

Егор очень медленно повернул к ней корпус.

Собака коротко, деловито гавкнула — один раз, будто поставила галочку.

И тогда с трёх сторон отозвались другие.

*

Глава 3. Идущие вниз

Их было пять.

Они не бросились. Они его окружили и держали — грамотно, широко, каждая на своём секторе, и та, палевая, села перед ним и стала ждать, а остальные стояли. Одна, чёрная, зашла за спину, и это было хуже всего, потому что он её не видел, а слышал, как она дышит.

Егор сделал единственное, что смог придумать: сел.

Он сел прямо там, где стоял, на щебень, подобрал ноги и положил руки на колени ладонями вверх.

Собаки перестали лаять.

Так они и находились — он на щебне, они кольцом, — минут пять или семь, пока снизу не пришли люди.

Пришли трое, верхом, и ещё двое пешком чуть позже. Егор потом много раз прокручивал эту минуту и всякий раз удивлялся, до чего мало в ней было драмы. Всадники поднялись рысью, придержали лошадей в двадцати шагах, посмотрели, и один негромко сказал что-то собакам, и собаки отошли и легли.

Никакого изумления на лицах не было. Была досада.

Он и потом это часто у них видел и постепенно понял: у людей, которые снимаются с летника и знают, что через два дня закроется тропа, для изумления нет времени.

Один спешился и пошёл к нему.

Егор смотрел снизу вверх и запоминал — не потому, что было надо, а потому, что двадцать три года описывал обнажения и разучился не описывать.

Мужик лет тридцати пяти. Невысокий, кривоногий той особенной кривизной, которая берётся не от болезни, а от седла с детства. Кафтан с левым запахом, ниже колена, подпоясан ремнём, и на ремне слева короткие ножны, а справа что-то в чехле. Штаны узкие, заправлены в мягкие сапоги без каблука. Шапка войлочная, острая, с отворотами. Лицо широкое, обветренное до кирпичного, борода редкая клинышком. Глаза узкие, но не по разрезу — от привычки смотреть далеко и на свет.

На ремне у него было нашито несколько бляшек. Егор посмотрел на них и почувствовал, как у него холодеет затылок, потому что это были маленькие свернувшиеся хищники с непропорционально большой лапой, и он их видел. В книжке. На вклейке.

Мужик остановился в трёх шагах и сказал:

— Чи ана вак? Ку барти?

Голос был обычный, чуть раздражённый. Так спрашивают у забредшего на огород.

Егор открыл рот и понял, что сказать ему абсолютно нечего.

— Я не понимаю, — сказал он по-русски.

Мужик повернул голову к своим и что-то бросил. Один из верховых засмеялся.

— Ку барти! — повторил мужик громче, как говорят с глухими.

— Не понимаю, — сказал Егор и покачал головой, и это, кажется, было единственное, что дошло.

Мужик подошёл вплотную, наклонился и без всякой злобы, деловито, взял его за подбородок и повернул лицо к свету — сначала одну сторону, потом другую. Пальцы были твёрдые и пахли лошадью. Он посмотрел на рассечение над ухом, потрогал, отчего Егора дёрнуло, хмыкнул. Потом взял за руку и повернул ладонь вверх.

Он смотрел на ладонь долго.

Егор понял, на что он смотрит. Ладонь была рабочая — мозоли от молотка, от лямки, от лопаты, — но не та. Не поводная. У этого мужика мозоли лежали бы по-другому, и он это видел.

Мужик отпустил руку и сказал одно слово — не Егору и вообще никому:
— Анар.

Егор услышал это слово в тот день ещё раз пятьдесят. Он выучил его первым, задолго до того, как узнал, что оно значит, и когда наконец узнал, было уже поздно.

Дальше пошло быстро и грубо.

Его подняли, сдёрнув за плечо. Стащили рюкзак. Кто-то ощупал его всего, снаружи, ладонями — не обыск, а именно ощупывание, как ощупывают барана. Нашли нож на поясе и забрали, и это была потеря.

Рюкзак вывернули на землю.

Дальше было отчасти смешно, если бы Егор был в состоянии. Штормовку помяли и отложили — ткань их заинтересовала, и они её тёрли между пальцами и переглядывались. Флягу открыли, понюхали, попробовали, вылили. Пикетажку раскрыли, посмотрели на страницу с цифрами, перевернули, посмотрели на другую и потеряли интерес мгновенно — бумага не была для них веществом, из которого что-то следует. Спичечную гильзу потрясли и не открыли. Аптечку раскрыли, понюхали йод и с отвращением бросили.

Лоток вызвал спор.

Один поднял его, взвесил, постучал по нему костяшкой и что-то сказал длинное. Второй забрал, посмотрел на просвет, попробовал ногтем. Дюраль их озадачил: лёгкий как дерево, звенит как металл, не ржавый, не медь, не золото. Они передавали его по кругу и говорили всё возбуждённее, и в конце концов тот, кривоногий, отобрал лоток у всех и сунул себе под мышку.

А потом кто-то вытащил молоток.

И всё стихло.

Молоток был обыкновенный, геологический, с длинной рукоятью и клювом, кованая инструментальная сталь, лежал в его руке восемь лет. Кривоногий взял его двумя руками. Попробовал вес. Провёл пальцем по клюву. Потом достал из ножен свой — короткий, широкий, с горбатой спинкой, — и приложил лезвие к бойку молотка, и стукнул, и посмотрел, что осталось.

На бойке не осталось ничего.

На лезвии осталось.

Кривоногий очень медленно поднял голову и посмотрел на Егора.

Вот с этой секунды, понял потом Егор, всё и началось. Не с золота, не с горна и не со шлюза. С того, что у чужого оборванца оказался кусок железа лучше, чем у них, и первый вопрос, который в этом мире задают человеку с хорошим железом, — не «откуда ты», а «кто тебя послал».

Начался спор, и спор был серьёзный.

Егор стоял в кольце и, не понимая ни слова, читал его так, как читают разрез. Он не знал языка, но структуру он видел.

Кривоногий — назовём пока кривоногий — говорил больше всех и громче всех, показывал на молоток, потом на юг, потом опять на молоток. Его слушали, но перебивали. Значит, не главный, хотя и не последний.

Второй, помоложе, с рассечённой губой, говорил коротко и явно предлагал что-то простое. Он два раза сделал одно и то же движение ребром ладони поперёк, и понимать тут было нечего.

Третий, старший из всех — седой, тяжёлый, сидевший верхом и не спешившийся, — не сказал ничего. Он смотрел не на молоток. Он смотрел на Егора, и смотрел так, как смотрят на плохую погоду: без интереса и без злобы, прикидывая, что теперь делать со сроками.

Егор стоял и думал совершенно посторонним куском мозга: если решится в пользу губатого, я даже не успею понять, что это уже случилось.

Потом снизу, от стана, поднялись ещё двое пеших и с ними женщина.

Она пришла последней и вошла в круг, и круг для неё раздался.

Ей было лет пятьдесят. Невысокая, плотная, в тёмном кафтане и высокой шапке, обмотанной поверху тканью. Лицо в глубоких вертикальных складках у рта. Она не посмотрела ни на молоток, ни на разложенное на земле барахло.

Она посмотрела на Егора и обошла его один раз кругом, не торопясь.

Потом остановилась перед седым верховым и сказала четыре или пять слов.

Егор не понял ни одного, но интонацию он понял целиком, потому что интонация эта была ему знакома по производственным совещаниям: «мы теряем время».

Седой помолчал. Потом что-то бросил — коротко, вниз, себе под ноги, — и тронул коня, и поехал к стану, не оглядываясь.

И это было решение.

Губатый сплюнул. Кривоногий сгрёб с земли лоток и молоток, а всё остальное — штормовку, аптечку, флягу, пикетажку — оставил лежать. Егору связали руки спереди — быстро, буднично, сыромятным ремешком, и завязали такой узел, что он даже пожалел, что не видит, как это делается, — и повели вниз, к стану, привязав конец ремешка к выючной седёлке.

Проходя, он успел наклониться и подхватить связанными руками пикетажку.

На него посмотрели и не отняли. Бумага их не интересовала.

*

Стан вблизи был больше, грязнее и живее, чем сверху.

Егора провели насквозь и посадили с краю, у разобранного каркаса, привязав ремень к вбитому колу. Никто не обращал на него внимания уже через десять минут. Мимо ходили, переступали через него, один раз чуть не наступили. Дважды подходила собака — не та, палевая, другая, — обнюхала и легла в трёх шагах, и Егор так и не понял, охраняет она его или ей просто там нравилось.

Он сидел и смотрел, потому что больше было нечего.

Работа шла с той злобной ровностью, которая бывает у людей на третий день сборов. Покрышки скатывали в валики и вязали. Жерди укладывали пучками и приторачивали вдоль лошадиных боков — по три с каждой стороны, тонкими концами назад. Выюки увязывали крест-накрест и затягивали, упираясь коленом.

Он видел бронзовый котёл на подставке — большой, литров на сорок, с двумя вертикальными ручками. Видел деревянные блюда. Видел, как женщина отжимает что-то белое в тряпке и развешивает комками на решётке — творог, догадался он, сушат творог. Видел, как девочка лет двенадцати сидит и шьёт, и шьёт она не иглой, а шилом — прокалывает и продевает.

Одежда была цветная. Он почему-то ждал бурого и серого, а тут было красное, было жёлтое, был тёмно-синий, и на кафтане у той женщины, что решила его судьбу, по подолу шла нашивка — ряд одинаковых фигурок, и они блестели тускло и жирно.

Золото, понял он. Это золото. Это на ней сейчас золота больше, чем я держал в руках за двадцать три года.

Часа через полтора рядом с ним оказался мальчишка.

Лет восьми. Он подошёл и стоял, разглядывая, потом присел на корточки и стал разглядывать с более удобной позиции. Егор не двигался.

Мальчишка протянул руку и потрогал его сапог.

Резина его потрясла. Он потрогал ещё раз, потом попробовал ногтем, потом понюхал палец.

— Хорошая вещь, — сказал Егор по-русски. — Только промокает по голенищу.

Мальчишка отдёрнулся и уставился ему в лицо.

Егор сообразил, что впервые за всё время произнёс при них связную фразу спокойным голосом.

— Ничего, — сказал он. — Я тоже не понимаю.

Мальчишка сидел на корточках и смотрел на него очень внимательно, а потом вдруг сорвался и убежал.

Через некоторое время он вернулся и, не подходя близко, кинул Егору что-то — кинул, как кидают собаке.

Это был кусок варёного мяса на кости.

Егор поднял его связанными руками, и в этот момент подошла какая-то женщина, дала мальчишке подзатыльник и что-то сердито сказала. Мальчишка увернулся и убежал уже насовсем.

Мясо она отбирать не стала.

Егор съел его целиком, обгрыз кость и потом ещё долго сидел, держа кость в руках, потому что было очень хорошо и очень страшно, и одно от другого не отделялось.

Солнце ушло за борт долины. Сразу стало холодно.

Он подтянул колени, обхватил их связанными руками и стал думать, чем занять голову до утра, потому что голова начинала работать не туда.

Он вытащил пикетажку и огрызок карандаша, который каким-то чудом остался в нагрудном кармане, и на чистой странице, в темноте, на ощупь, крупно написал первое слово, которое выучил в этом мире:

анар

Потом подумал и приписал:

(?)

*

Глава 4. Стена

Снялись через день, на рассвете, и Егор впервые увидел, сколько их.

Он думал — человек сто. Их было около трёхсот. Стан, который он наблюдал с бугра, оказался только одной частью: за ночь с верхних пастбищ подошли ещё два, и утром в долине стояло, шевелилось и орало столько народу, скота и лошадей, что смотреть на это было физически трудно.

Порядок движения был жёсткий, и Егор разобрался в нём часа за три.

Впереди шли овцы — тысячи, единой серой рекой, которую с боков держали конные подростки и собаки. За овцами, отставая на полкилометра, чтобы не есть пыль, шли лошади табунами, каждый со своим косячником. Потом коровы и быки, немного. Потом выючные, длинными нитками по восемь-десять голов, связанные повод к седёлке, и при каждой нитке пеший или конный.

Люди шли где придётся. Верховом ехали почти все, кто мог. Пешком шли те, кто не мог: старики, дети до пяти, и он.

Его вели при третьей нитке выючных, привязанным, и он шёл с шести утра.

К полудню он понял, что не дойдёт.

Не потому, что тяжело. Тяжело было, но терпимо. Он не дошёл бы потому, что шёл неправильно: он шёл, как ходят по маршруту — ровно, экономя, беря ногу от бедра, — а здесь надо было идти рывками, подстраиваясь под лошадь, которая то встаёт, то дёргает. К полудню он сорвал дыхание, натёр ремнём запястья до крови и начал спотыкаться.

На него посмотрел один из тех, кто шёл при нитке, — молодой, мосластый парень с плоским лицом. Посмотрел, отвернулся. Потом посмотрел ещё раз.

Потом подъехал, наклонился и молча перевязал ремень: снял с запястий и накинул петлёй поверх, через плечо и под мышку, как лямку.

— Спасибо, — сказал Егор.

Парень не отреагировал никак.

Идти стало возможно.

*

К стене подошли на третий день, к вечеру, и встали.

Егор увидел её сверху, с бровки, и первые несколько секунд просто отказывался понимать, что здесь можно пройти.

Плоскогорье обрывалось. Не спускалось, не переходило в склон — обрывалось, разом, и внизу, метрах в шестистах по вертикали, лежала другая долина. Узкая, тёмно-зелёная, с рекой посередине, и было видно, что там другой мир: там стояли деревья с настоящей листвой, там не было снега на бортах, оттуда шёл тёплый воздух.

Стена была не отвесная, но близко к тому. Крутой кулуар, забитый обломочным материалом, и по нему, по щебню, серпантином шла тропа — узкая, местами в две ладони, с двенадцатью или тринадцатью коленами.

Егор смотрел на неё и понимал, что он на неё смотрит как геолог, и что это единственное, что у него осталось.

Он видел следующее.

Тропа была проложена по телу оползня. Старого, задернованного сверху, но живого: он читал это по бровкам срыва в верхней части, по буграм выпирания внизу и по тому, как деревья на теле оползня стояли пьяно, наклонившись в разные стороны. Такой оползень движется годами по сантиметру и раз в сколько-то десятилетий срабатывает целым блоком.

Ещё он видел, что материал в кулуаре сухой. Дождя не было недели две.

И ещё он видел третье колено сверху, где тропа шла по узкой полке, а над полкой висел карниз, и под карнизом на полке лежала свежая мелочь.

Он смотрел на это третье колено минут двадцать.

Потом дёрнулся, чтобы что-то сказать, и вспомнил, что не может.

Он сидел на своей верёвке и лихорадочно соображал, как показать. Показать рукой? На что? Что он покажет — на камень? Они всю жизнь тут ходят, они ходят тут двадцать поколений, они спускались этой тропой, когда его прадед ещё не родился.

Но они не знают, что такое оползневый блок, а он знает.

Он попробовал.

Он поймал взгляд того самого мосластого парня, который перевязал ему ремень, и стал показывать: сначала на кулуар, потом ребром ладони сверху вниз — обвал, — потом развёл руками широко, показывая объём.

Парень посмотрел, куда он показывает, и пожал плечами.

Егор показал ещё раз, настойчивее. Показал на карниз. Показал на осыпь под ним. Сделал ладонью сползающее движение.

Парень поглядел на него без выражения, отвернулся и пошёл.

Егор посидел, потом лёг на спину и стал смотреть в темнеющее небо.

Небо здесь было не такое, как внизу, и не такое, как он вообще когда-либо видел. Дело было не в количестве. Дело было в том, что звёзды стояли слоями. Сначала проступали крупные, потом за ними, глубже, вторые, потом третьи, и глаз всё время проваливался дальше, чем рассчитывал, и не находил дна. Млечный Путь лежал поперёк не полосой, а разрывом, с тёмной жилой посередине, и было отчётливо видно, что тёмное — это не пустота, а что-то, что заслоняет.

Он двадцать лет ночевал в горах и никогда этого не видел, потому что рядом всегда стоял огонь, или машина, или посёлок за перевалом, и глаз не успевал раскрыться.

Смотреть было тяжело. Он перевернулся набок.

— Правильно, — сказал он вслух. — А что бы я сам сделал, если б ко мне на маршруте подошёл немой оборванец и стал махать руками.

*

Спускались с рассвета, и это заняло весь день.

Сначала пустили овец, и овцы шли хорошо — они спускались широко, не по тропе, а по всему кулуару, россыпью, как вода, и снизу это, должно быть, выглядело красиво. За овцами пошли люди и вьючные.

Егора отвязали и толкнули в спину — иди. Это было единственное послабление за три дня и означало оно только то, что привязанного человека на такой тропе не удержишь, а падать вместе с ним никто не собирается.

Он шёл в середине колонны и очень скоро перестал думать про оползень, потому что стало не до того.

Тропа была страшная. Не потому, что узкая, — он ходил по узким. Потому, что по ней шли лошади, а лошадь на такой тропе занимает всю ширину и ещё немного. Разойтись с ней нельзя. Прижаться некуда. Когда мимо тебя протискивается вьючная кобыла с двумя тюками и жердями по бокам, ты либо влипаешь в стену, либо у тебя за спиной шестьсот метров.

Пыль стояла такая, что верхних колен не было видно.

К полудню спустились примерно на треть, и на четвёртом колене случилась пробка: внизу что-то встало, и колонна начала сжиматься, и на полке скопилось людей и лошадей вдвое больше, чем полагалось.

Егора вжало в стену. Прямо перед ним, боком, стояла вьючная лошадь, и он упирался ладонями ей в бок, и чувствовал под ладонями, как она дрожит.

И тогда наверху, на третьем колене, поехало.

Звук был тихий. Сначала шорох, короткий, будто кто-то ссыпал ведро щебня. Потом секунда тишины.

Потом пошёл карниз.

Егор не видел этого — он видел только, как всё, что было выше по тропе, вдруг превратилось в облако. Пыль ударила сверху стеной, и в пыли что-то шло вниз, и оно шло долго, и звук был не грохот, а ровное тяжёлое шипение, точно такое же, какое он слышал двадцать седьмого сентября на противоположном борту.

Кричали. Кричали много и страшно.

Потом кончилось.

Сошло немного — потом он оценил объём тысячи в полторы кубов, узкой полосой. Сошло по касательной, вдоль тропы, срезав третье колено метров на пятнадцать.

На третьем колене в этот момент были люди.

*

Их откапывали до вечера.

Егор работал наравне со всеми, и никому не пришло в голову ему это запретить, — там вообще ни у кого не было мыслей, кроме одной. Разгребали руками, деревянными лопатами, чем попало. Мужчины наверху, женщины подавали воду и оттаскивали камень.

Достали четверых. Двое были живы и почти целы. Один был мёртв сразу — Егор видел его лицо, когда откинули плиту, и лицо было спокойное и очень удивлённое.

Четвёртым был тот мосластый парень.

Его нашли последним, в самом низу выноса, и он был жив, и он кричал.

Егор оказался рядом, потому что копал в этом месте.

Правое бедро парня было сломано открыто, и это было плохое место и плохой перелом — кость вышла наружу, и из-под неё шло толчками, и рядом с ногой в щебне уже натекла лужа, и лужа была тёмная и быстро росла.

Егор посмотрел на это и всё понял за полсекунды, потому что двадцать три года ходил в поле и восемь раз проходил переподготовку по первой помощи, и потому, что видел артериальное кровотечение вживую дважды.

Он заорал — на русском, потому что ему было не до того, — заорал «жгут!», и, конечно, никто не понял.

Тогда он просто сделал.

Он сел на щебень, схватил парня за бедро выше перелома и вдавил кулаком в пах, туда, где артерия прижимается к кости, и вдавил всем весом.

Кровь пошла слабее.

Он держал так и одновременно, второй рукой, стал дёргать с себя ремень, которым его водили три дня и который так и болтался у него на плече. Кто-то попытался его оттащить. Он рывкнул, не оборачиваясь, и его почему-то отпустили.

Ремень он завёл вокруг бедра, подсунул под него камень, закрутил ремень палкой, найденной тут же, и затянул.

Кровь остановилась.

Егор сидел на щебне, держал закрутку, и у него мелко тряслись руки, и он говорил, не переставая, по-русски, всякую чушь:

— Всё, всё. Держим. Держим, слышишь. Смотри на меня. Ты смотри на меня, я говорю. Всё.

Парень смотрел на него. У него уже начинали белеть губы.

Вокруг стояли и молчали.

*

Он умер через два с половиной часа, внизу, когда его спустили.

Не от ноги. Егор понял это ещё в первый час, когда ощупал живот и живот был твёрдый как доска. Селезёнка или печень. Внутрь.

Он ничего не мог с этим сделать. Ни здесь, ни в Барнауле в две тысячи третьем — там, может, и смогли бы, но здесь у него не было даже воды промыть руки.

Он сидел рядом до конца и держал ремень закрученным, потому что отпустить было ещё хуже, чем держать.

Когда всё кончилось, кто-то отвёл его руки и разжал их — они не разжимались сами.

Он встал и отошёл на несколько шагов, и его вырвало.

Потом он сел на камень и стал смотреть перед собой.

Уже стемнело. Внизу горели костры — много, десятки, потому что весь этот народ спустился и встал на ночь у реки, и река здесь шумела иначе, чем наверху: ниже, гуще, сытнее.

И воздух был тёплый.

Вот в чём было дело — воздух был тёплый. Впервые за пять суток он сидел вечером и не мёрз. Пахло сырой землёй, тополем и водой. Где-то стрекотало насекомое. Наверху не стрекотал никто.

Егор Дмитриевич Шадрин, сорока шести лет, геолог, сидел на камне в тёплой темноте, весь в чужой крови, и плакал — беззвучно и без всякого выражения на лице, как плачут от усталости, и он сам не мог бы сказать, из-за чего.

Потом кто-то подошёл и остановился рядом.

Он поднял голову.

Это была та женщина. Плотная, в высокой шапке, с вертикальными складками у рта. Она стояла и смотрела на него сверху вниз, и в руке у неё был деревянный ковш.

Она постояла ещё немного и протянула ковш.

Егор взял.

В ковше было что-то белое, кислое и холодное, и он выпил всё, до дна, в три глотка, и это оказалось лучшим, что он пил в своей жизни.

Женщина забрала ковш.

Потом она сказала — медленно, отчётливо, глядя ему в лицо и показав пальцем себе в грудь:

— Ама́га.

Егор поднял руку, тронул себя и сказал:

— Егор.

Она подумала. Повторила про себя, шевельнув губами. Кивнула.

— Йагор, — сказала она.

И ушла.

*

Глава 5. Слова, которые повторяют

Языка ему никто не давал.

Это была первая и главная трудность, и Егор понял её не сразу. Он почему-то ждал, что кто-нибудь начнёт учить: показывать на предметы и называть, как делают в кино. Никто не начал. Их триста человек, у них зимовка на носу, и им не было ни малейшего дела до того, понимает он или нет. От него требовалось приносить воду, таскать кизяк и не мешаться. Для этого хватало тычка.

Так что язык пришлось воровать.

Он начал это на четвёртый день внизу и делал потом полтора года, и всю дорогу — теми же приёмами, какими двадцать три года описывал породу: смотри, записывай, не додумывай, повторяй наблюдение.

Пикетажка стала двумя вещами сразу: словарём и календарём.

Календарь он завёл раньше словаря, ещё наверху, до спуска, — потому что это сидело в нём глубже. Двадцать три года он ставил дату на каждой странице. Полевик, не поставивший дату, — не полевик, а турист.

Он написал на чистой странице «27.09» и обвёл. Потом «28.09». Потом «29.09». И дальше ставил каждый вечер, пока была видимость, а если не было — утром, по памяти.

Он отлично понимал, что это ничего не значит. Сентябрь, октябрь, ноябрь — слова из другого мира, и здесь они не соответствуют ничему. Здесь нет ни сентября, ни года, от которого его отсчитывать. Здесь есть зима, которую переживают, и лето, в которое поднимаются наверх.

Он всё равно ставил дату каждый день и знал за собой, что бросить не сможет.

К декабрю набралось семьдесят с лишним отметок, и примерно тогда же он начал бояться другого.

Он был без сознания в дыре. Сколько? Он считал, что двое суток, потому что так ему казалось. Он мог ошибиться на сутки в любую сторону, и проверить это было нельзя ни завтра, ни через год, ни когда-нибудь вообще.

Значит, его календарь был кривой с первой страницы. И насколько кривой — он не узнает.

Он всё равно ставил.

Словарь пошёл следом. Он писал русскими буквами, как слышал, и рядом — обстоятельства.

ку — идёт часто в вопросе. «Ку барты». Возм. «куда» или «кто».

ап — вода?? Говорят у реки и когда наливают. Проверить.

ап — вода. Подтв. 3 раза.

Первое настоящее слово он взял на второй неделе, и это была вода. Мальчишка Октам — тот самый, что кинул ему мясо на кости, — тащил бурдюк, споткнулся, и оттуда плеснуло, и он сказал что-то с досадой, и в этом было «ап». Егор потом трижды проверил: у реки, у котла, когда мыли руки. Сходилось.

К концу третьей недели у него было девять слов. К концу шестой — тридцать одно.

Дети были ключом. Это он тоже понял не сразу.

Взрослый, когда ты тычешь пальцем и мычишь, раздражается и уходит. Ребёнку смешно. Ребёнок повторит десять раз, потому что взрослый дурак — это лучшее развлечение, какое может случиться на зимовке.

Октам приходил почти каждый день. Он садился на корточки в двух шагах, как в первый раз, и ждал представления.

Егор показывал на огонь.

— Атар, — говорил Октам.

— Атар.

— Атар. — С нажимом на первый слог, потому что Егор всё время съезжал на второй.

— Атар.

Октам кивал и показывал на что-нибудь ещё, и всё начиналось заново.

Отдельная мука была с камнем.

Егор показал на камень и получил слово. Записал. Потом показал на другой камень и получил другое слово. Он решил, что не расслышал, показал ещё раз — и получил третье.

Он потратил на это два вечера и в конце концов разложил перед Октамом семь штук: галечник, известняк, кусок сланца, обломок кварцевой жилы, окатыш из русла, плитку с террасы и кусок железистой корки.

Мальчишка назвал шесть разных слов. Два из семи он объединил.

Егор сидел над своей пикетажкой и тихо смеялся, потому что это было хорошо и очень зло. У них шесть слов там, где у него одно. Они различают камень по тому, на что он годится: этот на очаг, этот колется, из этого не сделаешь ничего. А он, единственный человек на этом континенте, который знает, что кварц — это кремнезём, а корка — гидроксид железа, и почему одно твёрже другого, — он не может сказать вслух «камень», потому что не понимает, какой именно они имеют в виду.

Не «камень». У них нет «камня». Есть шесть разных вещей. Я не слышу разницы, а они не слышат моей.

Синтаксис он тоже начал понимать раньше, чем словарь.

Фразы у них были короткие и предметные. Всё, что можно показать, называлось. Всё, что нельзя, — не называлось никак. Он полгода не мог найти у них слова «может быть» и в конце концов решил, что его нет, а есть три разных способа сказать «не знаю», и они означают разное: не знаю и мне всё равно; не знаю и это плохо; не знаю, потому что нельзя знать.

Ещё была странность с временем. Про завтра они говорили тем же способом, что про послезавтра и про весну, — «потом». Зато про снег у них было столько слов, что он бросил считать на одиннадцатом.

И была одна вещь, которую он слышал каждый день, много раз, и не мог поймать.

анар

Он слышал это про себя. Он был в этом уверен: когда говорили «анар», кто-нибудь обращался в его сторону, или его пинали, или ему что-то совали. Он записал двадцать восемь случаев с обстоятельствами и ни разу не поймал контекста, который бы объяснил.

Сначала он думал — это «эй». Потом — что это «чужой». Потом решил, что это, может быть, просто его имя, которое ему дали, потому что своё он выговорил один раз, ночью, у реки, и услышала его одна Амага.

В середине ноября он не выдержал и спросил напрямую.

Октам сидел на корточках, ковырял землю палкой и ждал.

Егор ткнул себя в грудь.

— Анар?

Мальчишка поднял голову. Кивнул. Он кивнул сразу, без раздумья, как кивают на очевидное.

Егор ткнул себя ещё раз.

— Йагор.

Октам смотрел на него.

— Йагор, — повторил Егор и постучал себя по груди, медленно, чтобы дошло. — Йагор.

Мальчишка помотал головой.

Не так, как мотают, когда не расслышали. Он помотал головой быстро и слегка испуганно, как мотают, когда взрослый говорит что-то, за что попадёт.

— Анар, — сказал он.

И для верности показал пальцем — на Егора, потом опять на него, потом ещё раз, и повторил твёрдо, как поправляют:

— Анар.

Потом встал и ушёл, и в этот день больше не приходил.

Егор сидел на корточках у стены жилища, там, где кончался ветер, и держал раскрытую пикетажку.

Он ничего не записал.

Он ещё не знал, что это слово значит, и узнает не скоро. Но он теперь знал главное: это не «эй» и не «чужой». Это то, что стоит вместо его имени. Ему не отказали в имени — ему просто выдали другое, и оно уже было, и его никто не выбирал.

Он закрыл пикетажку и убрал за пазуху.

— Ладно, — сказал он. — Хорошо.

*

Глава 6. Чей рот

Зимовка стояла в узком месте долины, где река делала петлю и борта прикрывали от верхового ветра.

Жилища здесь были другие — не разборные. Их вкапывали. Ставили сруб в четыре-пять венцов из лиственничного кругляка, обваливали снаружи землёй и навозом до самой крыши, а крышу набирали жердями и крыли войлоком в два слоя. Внутри вёл наклонный лаз, и в лазе всегда было темно и тепло.

Егор посчитал: двадцать шесть таких на всю зимовку. И ещё в стороне, ближе к скалам, стояли три землянки поменьше, куда селили тех, кому не было места.

Его сунули в такую.

Он поначалу решил, что это плохо, и только к декабрю понял, что ему повезло: в землянке было четверо, и это были четверо, которых никто не считал.

Старик по имени Дадак с гнилым коленом. Немой парень, работавший при табуне, — его называли словом, которое Егор перевёл как «тихий». Женщина без возраста, которая пряла, ела и молчала, и он так и не узнал, откуда она взялась. И он.

Дадак был лучшим, что случилось с Егором за ту зиму. Старик не мог ходить и потому был рад любому, кто рядом. Он говорил не переставая, ни к кому не обращаясь, и Егор слушал его вечерами, лёжа, и вылавливал слова, как ловят рыбу в мутной воде: одну на сотню взмахов.

И вот тогда же, в первые недели зимовки, Егор столкнулся с вещью, к которой оказался совершенно не готов, хотя, казалось бы, должен был.

Здесь не было приватности. Совсем. Никакой.

Он двенадцать лет прожил один в двухкомнатной на Павловском тракте и последние годы даже радовался этому. В поле бывало тесно, но поле кончалось в октябре.

А здесь в большое жилище набивалось по десять-двенадцать человек: старики, женатые сыновья с жёнами, дети, чей-нибудь приبلудный племянник. Один очаг, один воздух, одна темнота. Между лежанками — вытянутая рука.

За два месяца Егор узнал о людях этой зимовки то, чего не знал про собственную жену за девять лет брака. Кто беременна и с какого месяца. У кого не выходит и кто из-за этого злится. Кто плачет ночами, а утром выходит с обычным лицом. Кто с кем и как часто.

Он узнал это не потому, что подслушивал. Он узнал, потому что это происходило в трёх шагах, при двенадцати свидетелях, каждую ночь.

Поражало его не само это. Поражало, что никто не понижал голоса.

Он долго не мог понять почему, а потом до него дошло: понижают голос, когда есть вариант, что не услышат. Здесь такого варианта не существовало никогда и ни у кого. Стыдиться того, что слышат все, всю жизнь, с рождения, — это как стыдиться дыхания. Не то чтобы они были бесстыжие. У них просто не было органа, которым стыдятся этого, потому что ему не на чем было вырасти.

Егор помнил, как в первую неделю лежал, зажмурившись, и делал вид, что спит.

К декабрю он перестал делать вид. К февралю он уже сам не понижал голоса.

*

Разговор про него случился в конце ноября.

Он не был тайным. Никому в голову не пришло его прятать — Егор стоял тут же, в двадцати шагах, с двумя бурдюками, и его никто не отослал, потому что бурдюки надо было донести.

Стояли у большого жилища, на утоптанном снегу, впятером.

Аргот — старший, тот седой, что сидел верхом и не спешил в первый день. Спаргап — кривоногий, который забрал молоток. Скил — губатый, тот, что делал ребром ладони поперёк горла. Гнур. И Амага.

Егор к тому дню держал в голове около сорока слов, и этого не хватало ни на что, кроме одного: он понимал, о чём речь. Не что говорят — о чём. Разница огромная и мучительная.

Речь шла о еде и о нём.

Он слышал «анар». Он слышал слово, которое значило «зима», — его он выучил рано. Он слышал слово «мало», потому что его говорили при нём ежедневно и по любому поводу. И он слышал, как Скил дважды повторил короткое слово, после которого все замолкали на полсекунды.

Скил говорил быстро и убеждённо, и один раз показал рукой в сторону скал — туда, где долина сужалась и куда, как Егор потом узнал, оттаскивали палых овец.

Спаргап отвечал длинно. Он говорил про железо — это Егор понял, потому что дважды прозвучало слово, которым называли нож, и потому что Спаргап при этом положил руку на пояс, где теперь висел геологический молоток на сыромятной петле. Он таскал его с собой уже два месяца и, судя по всему, не собирался расставаться.

Егор понял ход Спаргапа целиком, хотя не разобрал слов. Ход был такой: где одно такое железо, там есть и другое. Где другое, там люди, которые его делают. А это либо беда, либо выгода, и пока не знаешь, какая, — держи находку при себе.

Аргот молчал.

Гнур сказал немного. Он вообще говорил мало, и Егор всякий раз внутренне подбирался, когда тот открывал рот, потому что после его слов разговор менял направление.

Гнур сказал что-то, в чём было слово «гора» и слово, которое Егор пока не знал, и махнул рукой вниз, коротко и резко, — жест, который Егор про себя перевёл как «тряхнуло».

Все примолкли.

Потом Скил сказал ещё что-то — уже без напора, скорее для порядка.

И тогда заговорила Амага.

Она говорила недолго — фраз пять. И Егор, к своему изумлению, поймал две вещи. Он поймал слово «вода», потому что это было его первое слово и он знал его лучше всех. И он поймал «мало», потому что это слово он слышал по сорок раз на дню.

Носит воду. Ест мало.

Вот и весь довод.

Аргот что-то буркнул и пошёл к себе. Скил сплюнул. Спаргап поправил на поясе молоток и тоже ушёл.

Всё.

Егор простоял с бурдюками ещё, наверное, полминуты, и до него медленно доходило, что он только что выжил и что это заняло меньше времени, чем занял бы спор о том, чья очередь идти за кизяком.

Никто не оценил его. Никто не пожалел. Просто на морозе неудобно долго стоять и спорить, а женщина, у которой много работы, сказала, что ей нужны руки.

Он потащил бурдюки в лаз.

Внутри Дадак спросил его о чём-то. Егор не понял и сказал единственное, что говорил всегда:

— Не понимаю.

Старик засмеялся, проговорил что-то длинное — Егор выхватил из этого только «анар» — и махнул рукой.

*

С того дня он числился при Амаге.

Это не объявляли и не оформляли — просто с утра его стали посылать не абы кто, а она, и это меняло очень многое. Он перестал быть ничьим. У ничьего можно отобрать еду, ничьего можно пнуть, ничьего можно отправить работать дважды. У Амаги — уже нельзя, потому что тогда придётся объясняться с Амагой.

Он понял это не через слова, а по спине: перестал ждать удара, проходя мимо чужих.

*

В начале декабря выдался день, каких на Чулышмане бывает немного: тихий, без ветра, с той плотной синевой в небе, которая случается только на морозе и только когда ни облака.

Егора послали наверх, к скалам, за кизяком, и он поднялся по осыпи метров на полтора и там остановился, потому что снизу этого не было видно, а отсюда стало.

Долина лежала под ним от края до края.

Он смотрел на неё, наверное, минут двадцать, и первые десять смотрел как геолог, а вторые десять просто смотрел.

Как геолог он видел трог. Классический ледниковый трог, корытом, с плоским днищем и крутыми бортами, и на бортах, метрах в трёхстах над рекой, отчётливо читались плечи — та высота, до которой стоял лёд. Боковые долины висели. Они кончались высоко над главной, обрывом, и из каждой падала вода, и сейчас, в декабре, вода эта стояла жёлто-белыми буграми наледи, приросшими к скале. Главную долину выпахал ледник, и он был большой и шёл долго, а боковые ручьи за ним не успели и так и остались висеть.

Он знал, куда всё это уходит. Река шла на север и кончалась в Телецком, а Телецкое — это тектонический шов, разлом, и вода в нём стоит на глубине трёхсот метров.

Он знал, как всё это называется. Чулышман. Башкаус, который впадает ниже. Улаганское плато наверху, откуда они спустились. Кату-Ярык — та самая стена, по которой они шли пять часов. Учар на Чульче, куда он однажды не дошёл в девяносто девятом.

А как второй раз посмотрел — увидел другое.

Борта были не серые, а разноцветные, потому что солнце шло низко и брало склон сбоку: рыжее там, где лиственничник, тёмное там, где кедр, серо-сиреневое на голых курумниках. Река внизу не замёрзла целиком, шла чёрной полосой между белыми берегами, и над полыньями стоял пар. По днищу, вдоль воды, тянулись тополя и тальник, все белые от инея, и они держали иней с самого утра, потому что не было ветра. Дымы над зимовкой стояли ровно, все двадцать шесть, и не гнулись.

Было красиво так, что у него защемило в носу, и он на всякий случай списал это на мороз.

Вечером он достал пикетажку и стал рисовать карту.

Он рисовал её три вечера, при огне, огрызком карандаша, и делал это тщательно, как делал бы схему участка: река, притоки, стрелки течения, отметки, где стена, где брод, где сужение. Подписал всё, что знал: Чулышман, Башкаус, Кату-Ярык, плато, озеро на севере.

Потом он показал рисунок Октаму.

Мальчишка вертел бересту так и сяк, и Егор сообразил, что вида сверху тот не понимает, потому что никогда не видел ничего сверху, кроме как с горы, а с горы вид другой. Тогда Егор развернул лист и стал показывать: вот мы, вот сюда мы шли, вот стена, вот сверху.

И Октаму понял.

Он ткнул пальцем в реку и сказал слово.

Егор переспросил. Мальчишка повторил.

Слово было короткое и не имело с «Чулышманом» ничего общего.

Егор записал его рядом.

Потом ткнул в стену — и получил другое слово. Ткнул в плато наверху — третье. Ткнул в северный край листа, где озеро, и мальчишка помотал головой: то ли не знал, то ли не был там.

Егор сидел над своей картой и понимал, что теперь у него их две. Одна нарисована и подписана словами, которых в этих горах ещё не придумали и придумают неизвестно когда. Вторая живёт в голове у восьмилетнего пацана и звучит вслух каждый день.

И вторая — настоящая.

Он ещё долго ловил себя на том, что думает «Чулышман», и не мог бросить, как не мог бросить календарь.

*

И примерно тогда же он впервые за всё время сел вечером и стал считать по-настоящему.

Он взял пикетажку и попробовал прикинуть баланс зимовки — как считал бы запасы на партию. Он не знал точных чисел, но порядок он видел глазами.

Триста с лишним человек. Овец — считал по загонам, вышло тысячи три с половиной, может четыре. Лошадей — сотен пять, но лошади зимой не еда, лошади зимой ценность, их бьют последними. Коров мало.

Забили осенью — он видел сколько — и мясо теперь висело мороженое и лежало в ямах.

Он попытался разделить одно на другое и остановился.

Цифры выходили нехорошие. Даже при его грубой прикидке, даже если ошибиться вдвое в лучшую сторону, до апреля не хватало.

Он сидел с карандашом в тёплой темноте и слушал, как в трёх шагах сопит Дадак, и очень отчётливо понимал, что весной кого-то будет меньше, и что арифметика тут ни при чём, — арифметику эти люди знают лучше него, они на ней живут четыреста лет. Вопрос был не в том, хватит или нет. Вопрос был в том, кому.

Он закрыл пикетажку.

Носит воду. Ест мало, — вот и всё, что стояло между ним и той стороной вопроса.

Мало — это надо было держать. Мало — это надо было заслужить.

*

Глава 7. Шерсть

Войлок валяли в начале декабря, в оттепель, и это был первый день, когда Егор оказался внутри работы, а не сбоку от неё.

Он потом часто про этот день вспоминал и думал, что если бы его спросили, когда он перестал быть просто ртом, он назвал бы не золото и не кузню. Он назвал бы шерсть.

Начали затемно.

Шерсть лежала с лета в мешках из сыромятины — грязная, свалившаяся, жирная от ланолина, и когда мешки развязали, от них пошёл такой густой овечий дух, что Егор закашлялся, а бабы засмеялись.

Сначала её били.

Клали слоем на растянутую сеть из сухожильных струн и лупили двумя гибкими прутьями, попеременно, в два счёта. Шерсть подпрыгивала, расходилась, из неё летела труха, репей, катышки навоза и пыль, и через полчаса в помещении стоял туман.

Егор взял прутья и через десять минут понял, что делает не то. Он бил сильно и вразнобой. Женщина рядом — её звали Сатра, и она была раза в полтора старше и вдвое легче его — была вдвое чаще и втрое слабее, и у неё шерсть шла ровно, а у него сбивалась в комок.

Он остановился и стал смотреть.

Потом попробовал повторить не силу, а ритм.

Через час у него получалось.

Потом раскладывали.

Это была самая тонкая часть, и к ней его не подпустили. На старую войлочную подстилку, расстеленную во всю длину, женщины укладывали взбитую шерсть слоями — сначала вдоль, потом поперёк, потом опять вдоль. Каждый слой тонкий, почти прозрачный, и его выравнивали ладонями, и любая проплешина означала, что в готовом войлоке будет дырка.

Слоёв было семь.

Егору дали лить воду.

Воду грели в котле на костре снаружи и носили деревянными ведёрками, и лили не абы как, а горстью, разбрызгивая по слою равномерно, и вода должна была быть горячая — не тёплая, а горячая, такая, что руку держать нельзя.

К третьему ведру он заметил.

Котёл стоял у входа. От котла до дальнего конца подстилки было шагов двенадцать. Пока он доходил, вода в ведёрке остывала настолько, что дальний конец мочили, по сути, тёплой, и женщины там ворчали и мяли шерсть дольше.

Он проверил ещё дважды, чтобы не показалось.

Не показалось.

Тогда он вышел, нашёл второй котёл — небольшой, литров на двенадцать, стоявший без дела, — приволок его, выгреб из костра половину углей, устроил вторую точку у дальнего края и поставил греть.

Он никому ничего не сказал, потому что не мог.

Женщина у дальнего края — та самая Сатра — посмотрела на него, потом на котёл, потом опять на него. Потом сунула руку в воду. Потом что-то громко сказала на всё помещение.

Егор ничего не разобрал, кроме интонации, а интонация была: ну наконец-то.

*

Потом катали.

Всю подстилку с семью слоями и водой скатали в тугой рулон вокруг длинной жерди, обвязали сыромятными ремнями вдоль и поперёк, к торцам привязали верёвки, и верёвки взяли за седло.

И этот рулон четыре часа таскали по земле.

Двое верхом, шагом, кругами по натопанной площадке, туда и обратно, туда и обратно. Рулон катился, подпрыгивал на кочках, шипел. Раз в час его останавливали, развязывали, разворачивали, смотрели, поправляли, обливали горячим, сворачивали заново, но уже с другого конца — чтобы садилось ровно.

Егор ходил рядом с рулоном и поправлял его руками там, где его вело в сторону.

Это была тупая, тяжёлая, бесконечная работа, и он делал её четыре часа, и где-то на третьем часу обнаружил, что ему хорошо.

Он потом пытался понять почему и решил, что дело в двух вещах.

Во-первых, тут не нужен был язык. Работа сама говорила, что делать. Он впервые за два месяца перестал быть глухим.

Во-вторых, он делал это вместе.

Бабы, идущие вдоль рулона, тянули одну и ту же длинную фразу — не песню, а что-то вроде счёта, монотонное, в такт шагу лошади, с ударением на каждом четвёртом шаге. Егор не понимал ни слова. Но к третьему часу он поймал такт и стал подгадывать под него свои толчки, и это оказалось единственным способом не сдохнуть, и это же оказалось тем, что делало из десятка человек одну машину.

Он не пел. Он просто попадал.

К вечеру у него не сгибались пальцы.

Руки были в горячей воде и ланолине с рассвета, кожа на ладонях разбухла и полезла, и под ногтями всё саднило. Ему было сорок шесть, и это чувствовалось в пояснице, в коленях и в плечах отдельно и подробно.

Готовый войлок развернули уже в темноте, при огне.

Он вышел плотный, серо-бурый, толщиной в палец, длиной шагов в восемь, и его подняли на руки всей толпой и понесли, и все орали, и кто-то ткнул Егора в спину, чтобы шёл, и он пошёл и держал свой край.

Потом сели есть.

Котёл, черпак, деревянные блюда, кислое молоко, мясо на всех.

Егор сел с краю, потому что всегда садился с краю.

Сатра, разливавшая, дошла до него и, не глядя, ткнула ему в руки блюдо.

Вот и всё. Она не посмотрела, не кивнула, ничего не сказала. Она просто раздавала по кругу и на нём не остановилась.

Он взял и стал есть.

Кормили его каждый день. Здесь не морили голодом работающее тело — это было бы так же глупо, как не поить лошадь, которую завтра выючить. Он подходил к котлу последним, ему доставалось со дна и меньше, чем остальным, и это было понятно и справедливо, и он на это не обижался.

Но за два с половиной месяца ему двенадцать раз давали еду в руки отдельно, помимо котла. Он помнил все двенадцать: с брезгливостью, с усмешкой, украдкой, через плечо, как собаке.

Ни разу — вот так.

Он ел и старался, чтобы никто не видел его лица, и, кажется, никому и не было надо.

*

Глава 8. Кость

Спаргап вывихнул плечо в конце января, и Егор оказался при этом, потому что таскал сено к загону.

Сена, к слову, было мало и оно было не сено, а какая-то жёсткая ветошь, накошенная серпами по логам, и её берегли для больных и для стельных, а остальной скот копытил из-под снега. Егор понял систему на второй неделе и удивился только тому, как здесь мало запасают. Потом перестал удивляться: чтобы косить на четыре тысячи голов, надо жить оседло, а если жить оседло, скот съест траву вокруг и сдохнет.

Спаргап в тот день объезжал двухлетка.

Он делал это в загоне, на плотном снегу, и делал хорошо — Егор понимал в лошадях мало, но видел, что человек знает своё дело и что конь его не боится, а злится, и что это разные вещи.

Верёвка была намотана у Спаргапа на левое предплечье в два оборота.

Егор увидел это и внутренне поморщился — так делать нельзя, это знает любой, кто хоть раз работал с выючной скотиной, — и в ту же секунду двухлеток шарахнулся вбок от чего-то, чего никто не заметил, и рванул.

Спаргапа выдернуло, протащило шагов пять и швырнуло в жердину.

Он поднялся сам.

Он поднялся, отряхнулся, что-то сказал и попробовал согнуть руку, и вот тут стало видно, что дело плохо. Левая рука висела чуть отставленно от тела, слегка развёрнутая наружу, и он держал её правой, и сгибаться она не хотела.

Егор бросил охапку и пошёл к загону.

Он всё понял с десяти шагов. Плечо было пустое: там, где должна круглиться дельтовидная, был провал, а головка ушла вперёд и вниз, и её было видно бугром под ключицей.

Передний вывих. Классический, учебниковый, самый частый из всех.

Он видел такой дважды. Первый раз — в восемьдесят девятом, на Северном Урале, у маршрутного рабочего, и тогда вправлял врач с вертолётки через шесть часов. Второй раз — в девяносто седьмом, и тогда вправлял он сам, потому что вертолётки не было и не предвиделось, и он сделал это по книжке, которую в тот момент помнил хуже, чем сейчас.

Вокруг уже собрались.

Спаргапа усадили на седло, положенное в снег, и стянули с него кафтан, и когда стянули, все замолчали, потому что вид у плеча был отчётливо неправильный.

Пришёл Гнур.

Егор к тому времени понимал про Гнура немного, но главное: этот человек лечил. Не он один — бабы знали травы и умели вправлять кости не хуже, — но когда дело касалось того, что случилось не по правилам, звали его.

Гнур посмотрел на плечо. Потом сел рядом со Спаргапом, взял его руку и стал говорить, и говорил долго, ровно, нараспев, и раскачивался.

Потом взялся и дёрнул.

Дёрнул он резко и вверх, одним движением, и Спаргап взвыл так, что двухлеток в дальнем конце загона отпрянул.

Ничего не вошло.

Гнур подождал и дёрнул ещё раз, иначе.

Опять.

На третий раз Спаргап заорал и оттолкнул его здоровой рукой.

Стало очень тихо.

Егор стоял в толпе и в этот момент отчётливо понимал две вещи. Первая: он может это сделать. Вторая: если он это сделает, у него на всю оставшуюся жизнь появится враг, и враг этот сидит сейчас на корточках в двух шагах и вытирает руки о снег.

Он посчитал секунды на второй мысли и вышел вперёд.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.